



**Н. К. НИКИФОРОВ**

**Петербургское студенчество  
и Влад. Серг. Соловьев**

Со времени кончины Вл. Серг. Соловьева, последовавшей 31 июля 1900 г., мне не приводилось встречать в печати воспоминаний о нем как лекторе философии в С.-Петербургском университете. Между тем не осветить этого периода жизни знаменитого философа и богослова, бывшего в то же время публицистом, поэтом и критиком, значит оставить в тени одну их самых характерных сторон его возвышенной личности и обаятельного таланта. Бывшие слушатели Соловьева теперь уже «дедушки»; с их смертью сойдет в могилу и память о Владимире Сергеевиче как профессоре. А эта память может быть поучительной во многих отношениях.

Вл. С. Соловьев начал читать лекции в С.-Петербургском университете, если не изменяет мне память, в 1880 году<sup>1</sup>. В то время в обществе и среди учащейся молодежи еще не улеглось увлечение естественными науками, вспыхнувшее так бурно в 60-х годах. Естественное отделение физико-математического факультета было в Петербургском университете самое многолюдное и сосредоточивало в себе самых выдающихся профессоров того времени: тут были Менделеев, Сеченов, Вагнер, Меншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Фаминцын, А. Бекетов (ректор университета). Господствуя и по количеству студентов, и по числу профессоров с европейской известностью, естественное отделение сообщало свой дух и тон всему университету. В полном соответствии с общественными симпатиями к «реальным знаниям» и со всеобщим отвращением к затхлому классицизму, бывшим тогда в полном разгаре, подавляющее большинство студентов считало настоящими науками только естественные, а все остальные — лишь «терпимым искусством». Впрочем, на юридический факультет студенчество, в общем, смотрело еще более или

менее снисходительно: там читалась политическая экономия, трактовавшая, между прочим, о социализме. Безусловное, не терпящее возражений презрение внушали науки историко-филологического факультета. На этот злосчастный факультет переносилась массой студенчества вся та ненависть, которая возникла в гимназиях к древним языкам. В среде естественников слово «филолог» было почти бранным. С этим словом у огромного большинства петербургского студенчества соединялось представление об ограниченном, тупом зубриле и будущем учителе-Молчалине. Все филологи, по мнению господствующего большинства, непременно должны были быть «бонапартистами». Не лучшего мнения о филологических науках были и профессора физико-математического факультета. Так, когда к одному из них обратился за советом первокурсник-филолог, колебавшийся между филологическими и естественными науками, то профессор окинул его презрительным взглядом и, по-видимому даже обидевшись сопоставлением филологического факультета с физико-математическим, брезгливо произнес: «У каждого, милостивый государь, свои вкусы: одного влечет к точным знаниям, а другой предпочитает копаться в куче навоза». Даже юридические науки один из профессоров-естественников называл «кляузническими».

Но если в презрении были филологические науки, то философия — или метафизика — в глазах подавляющего большинства студентов являлась прямо одним из видов умственного разврата. Сказать «занимаюсь философией» значило почти то же самое, что сознаться в занятии, напр[имер], порнографией.

Презрительный взгляд на филологов и их науки переносился из научной области и на различные выступления на политической или академической почве. «Мыслящими реалистами», по убеждению студенческого большинства, могли быть только естественники. Поэтому и всякого рода «активные протесты» являлись как бы их специальной привилегией, и посягательство филологов на участие в предполагаемом «выступлении» принималось неприязненно, как узурпация не принадлежащих им прав.

— Филолог, а тоже на сходку лезет!

Однако было бы ошибкой предположить, что командующее большинство петербургского студенчества ничего, кроме естественных наук, не признавало. Студенты того времени смотрели на лекцию только как на руководящий материал. Считалось, напр[имер], почти неблагоприятным готовиться к экзамену только по лекциям или учебникам: надо было «прихватить» хоть

немного «литературы предмета». Главным делом считалось самообразование, являвшееся как бы одним из элементарных требований студенческой порядочности. Поэтому, говоря вообще, студенчество читало много: кружки самообразования были очень распространены, почти в каждом из них были свои кружковые «философы» и «мыслители», иногда даже из бывших студентов, из тех, кто уже побывал «в народе». Все это чтение и самообразование не выходило из рамок известного политического направления, которое могло быть определено одним словом: *народ*, причем под народом понималось исключительно крестьянство. Только в самом конце семидесятых годов в понятие «народ» были введены иные элементы. Увлечение «народом» иногда доходило до смешного. Стоило, напр[имер], на сходке или просто среди собравшейся толпы студентов крикнуть: *господа, народ!* И тотчас раздавались бурные возгласы:

— Да здравствует народ!..

Господством такого направления обуславливалась и программа самообразования, не чуждая, впрочем, принципиальных противоречий. Так, например, заниматься философией считалось делом постыдным, но изучение Огюста Конта не только разрешалось, но и поощрялось — очевидно потому, что этот философ отрицал метафизику и, по его теории, исследование идей, чувств и воли человека являлось частью филологии, составляющей, в свою очередь, только один из отделов биологии. Следовательно, Конт был не «метафизиком», а «естественником». Поэтому все философы-позитивисты были в большом почете у студенчества.

Не являлись запретными и философы утилитарной школы с Бентамом во главе, так как Бентам ввел в область морали простой «расчет» и допускал исчисление наслаждений с помощью «нравственной арифметики», т. е. не только был эмпириком, но и строил всю мораль на «точном» арифметическом основании.

Другого рода критерии применялись программой чтения к беллетристике и стихотворениям.

Чтение романов, повестей, стихотворений и т. п. трактовалось студенческой традицией как безделье, но, например, Некрасов был любимым поэтом и на каждой студенческой вечеринке после обязательной «Дубинушки» («Много песен слышал я...») распевалось и некрасовское «Укажи мне такую обитель» (из «Парадного подъезда»). Такой же излюбленной песней было и стихотворение Навроцкого «Утес».

С другой стороны, роман Чернышевского «Что делать?» должен был прочесть каждый порядочный студент, и в известную

студенческую песню «Проведемте, друзья, эту ночь веселей» обязательно вставлялся такой куплет:

Выьем мы за того,  
Кто «Что делать?» писал,  
За героев его,  
За его идеал...

Объясняются эти кажущиеся противоречия, конечно, тем, что Некрасов был «печальником горя *народного*», Навроцкий в своем стихотворении поэтизировал Стеньку Разина, а в романе «Что делать?» изображались в хвалебном тоне «мыслящие реалисты». Но и всякое другое беллетристическое произведение могло смело рассчитывать на успех среди студенчества, если оно удовлетворяло следующим требованиям: все мужики, кроме кулаков, должны быть изображены вместилищем добродетелей, особенно патриархально-общинных; по наружности они непременно исхудалые, с землистыми лицами, оборванные; «кулаки», наоборот, все «краснорожие, толстомордые, с выпятившимся брюхом» и — условие *sine qua non*<sup>2</sup> — воплощенные изверги естества, состоящие в союзе с начальством.

При изображении городской жизни и среды должен был употребляться такой трафарет: все студенты и «мыслящие реалисты» блистают добродетелями и в этом отношении чище солнца, так как на нем все же усматриваются пятна; разумеется, они проникнуты сверхчеловеческой любовью к народу и готовностью положить за него душу по первому требованию. Все остальные, кроме студентов и мыслящих реалистов, должны быть изображены невеждами, врагами народа, погрязшими во всевозможных пороках. Словом, искусство признавалось только приспособленное к требованиям революционного народничества, а принцип «искусство для искусства» считался столь же ненавистным, как и «метафизика». Нетерпимость к самостоятельным мнениям, отступавшим от установившихся традиций, была поразительная, прямо сектантская. Цензура мнений была весьма строгая, и провинившийся перед нею изнывал под гнетом общего презрения. В виде иллюстрации расскажу хотя один эпизод.

Если не ошибаюсь, в 1880 году студент юридического факультета Г. поместил в издававшейся в то время Баталиным газете «Минута»<sup>3</sup> коротенькую заметку, в которой довольно непочтительно отозвался о последней сходке в университете. Среди студенчества поднялась целая буря. Тотчас же собравшаяся сходка постановила учредить над дерзким протестантом суд, предъявив ему два обвинения: 1) отрицательное отношение к сходкам и

2) сотрудничество в ретроградной газете. И так как судьи-студенты могли высказаться за исключение виновного из университета, то выборные от сходки делегаты отправились к ректору А. Н. Бекетову с требованием, чтобы предстоящее постановление студенческого суда было приведено в исполнение университетской властью. Ректор попробовал было повлиять на студентов в примирительном духе, но встретил такой отпор, что оказался вынужденным созвать совет. В открывшихся затем переговорах между советом и студенческими делегатами состоялось соглашение, по которому суд над Г. был учрежден, но в состав судей вошли в качестве представителей университетского совета три профессора; со стороны же студентов были выбраны представители всех курсов и факультетов (по одному от каждого курса).

В таком составе, под председательством проф. Фаминцына, и состоялся суд над нарушителем студенческих традиций. В происшедшем после «допроса обвиняемого» совещании судей почти все студенты-судьи (автор этих строк был в числе судей) настаивали на удалении виновного из университета, а профессора-судьи являлись скорее адвокатами подсудимого. В результате был постановлен приговор: объявить виновному от имени университета *порицание*.

Все сказанное выше относится к массе студенчества, дававшей тон университетской жизни, именно тот тон, который делает музыку. В стороне от главного течения стояли не только отдельные студенты, но и целые группы, отличавшиеся самыми различными мирозерцаниями. Воинствующий дух господствовавшего течения отражался, однако, и на психологии отдельных групп, удалявшихся от студенческого форума. Среди этих групп наблюдался, например, любопытный, ныне совершенно исчезнувший тип «вечного студента», не имеющий, кроме названия, ничего общего с современным типом такой же клички. «Вечные студенты» описываемого периода проходили университет по установленной Контом классификации наук, т. е. начинали с математического факультета, кончив который, переходили на естественный, а затем иногда и на юридический. Но при прохождении каждого факультета они еще более, чем другие студенты, считали необходимым «работать самостоятельно», изучая литературу предмета. Двух таких студентов знал я лично. Это были почтенные бородачи. Один пробыл в университете уже 15 лет, другой — 12. На мой вопрос старшему, когда он думает покончить с университетом, бородач не без изумления ответил: «А зачем мне с ним кончать? Так и умру в университете. Это простой расчет наслаждений». Очевидно, это был не только кон-

тист, но и бентамист. От того же патриарха студенчества я, между прочим, услышал любопытный отзыв о тургеневском Базарове.

— Когда я поступил в университет, — рассказывал он, — этих самых Базаровых было сколько угодно. Тургеневу надо было просто позвать к себе одного из них и предложить ему, шельме, исповедаться. Мерзавцы они были...

— Почему?

— Мужика презирали.

Я напомнил, что эта черта была отмечена Тургеневым в Базарове.

— Слабо отмечена, — ответил мой собеседник. — Тургеневу следовало бы при этом хорошенько ругнуть такую бестию...

«Вечные студенты» являлись живой летописью университетских преданий и традиций; ни в каких студенческих движениях они не участвовали, хотя относились к ним в некоторых случаях благосклонно.

Скажем два слова и о внешнем облике студенчества того времени. Излюбленным костюмом типичного студента была красная рубашка, подпоясанная каким-либо пояском или ремнем. Темные блузы были широко распространены. Брюки зачастую носились в сапоги. Если при этом были длинные, до плеч волосы, а от блузы пахло сероводородом или на ней виднелись пятна от различных реактивов — признаки усердных занятий в химической лаборатории, — то для настоящего студента это была самая почетная внешность. В зимнее время неизменной принадлежностью большинства студентов был плед, накинутый поверх летнего или осеннего пальто. В этом костюме, постельных принадлежностях и гряде лекций очень часто состояло все движимое имущество студента, презиравшего земные блага и считавшего позором заботиться об изяществе костюма.

Спустится, бывало, такой пламенный, но не в меру рассеянный вершитель мировых судеб с четвертого или пятого этажа со связкой лекций в руках да с подушкой, увязанной в одеяло, — и, спохватившись, закричит наверх:

— Хозяюшка! Сбросьте-ка мне плед, я на другую квартиру переезжаю.

Уже из того, что выше сказано об идеологии большинства студенчества, ясно, что профессор философии мог в Петербургском университете рассчитывать на успех разве среди крайне немногочисленной группы филологов. По-видимому, еще менее шансов представлялось такому «мистичку-аскету», каким считал-

ся в то время Вл. С. Соловьев. Ко времени появления его в университете идеология студенчества приняла притом формы еще более враждебные мирным занятиям философией. Это была эпоха страстного идеализма и фантастического народолюбия, эпоха горячих споров между чернопередельцами и народовольцами<sup>4</sup>. П. Ф. Якубович, бывший именно в это время студентом Петербургского университета, великолепно отразил в своих первых стихотворениях психику тогдашнего студенчества, эти муки разрешения роковых для молодой жизни вопросов.

Ах, без жизни проносится жизнь вся моя!  
 Увлекаемый мутною тиною,  
 Я борюсь день и ночь, сам себе — и судья,  
 И тюрьма, и палач с гильотиною...<sup>5</sup>

И не было тогда ни одного студенческого кружка, в котором не кипели бы вокруг тех же проклятых, выдвинутых жизнью вопросов ожесточенные, иногда осложнявшиеся печальными эпизодами споры, тяжелую картину которых с замечательной правдивостью тогда же воспроизводил тот же поэт.

Угрозы и клики носились кругом  
 В потоках табачного чада, —  
 И сами, случалось, не видели мы  
 В речах наших смысла и склада.  
 Из лишнего слова рождалась гора,  
 Враги меж друзей находились  
 И с пеной у рта — не на жизнь, а на смерть —  
 Словами, как шпагами, бились.  
 Обидные клички бросались в лицо  
 С каким-то злорадным стараньем...  
 И часто кончался безумный раздор  
 Внезапным и страшным рыданьем...<sup>6</sup>

Так вот в какую сторону были в то время отвлечены мысли и чувства подавляющего большинства студенчества, для которого целесообразность занятий даже излюбленными естественными науками неожиданно попала под знак вопроса. Что уж было говорить после этого о всегда презираемой «метафизике»!..

В эту именно пору в университете появилось объявление ректора, гласившее, что в такой-то день доктор философии Вл. С. Соловьев прочтет вступительную лекцию. Естественники, считавшие себя призванными стоять на страже достоинства и чести университета, насторожились. Пошли справки: что за Соловьев? Оказалось, что это «тот самый», который печатно выступал «против позитивистов»<sup>7</sup>. Этого было довольно. В приглашении *та-*

кого профессора естественники увидели вызов всему их факультету. Против позитивистов — это значит против естественных наук! В университет выслан комиссар, для того чтобы бороться против спасительных точных знаний и «одурманивать мозги метафизикой»!

Решено было выслушать эту вступительную лекцию и после нее так «проучить» новоявленного «апостола мракобесия», чтобы не только ему, но и другим врагам позитивизма впредь неподвадно было выступать в Петербургском университете.

И вот назначенный для лекции день настал. Университетское начальство, ничего не подозревая и зная, что, кроме филологов, лекцией философа никто не заинтересуется, отвело для нее одну из филологических аудиторий, как все они в то время, маленькую и тесную. Но в эту аудиторию неожиданно повалили густые толпы естественников. Начальство, недоумевая, откуда явился неожиданный интерес к «метафизике», распорядилось отвести самую большую аудиторию в университете, в которой обыкновенно читал составлявший гордость университета Д. И. Менделеев.

Тотчас началась стремительная перекочевка студентов в «менделеевскую» аудиторию. В числе других я увидел направляющимся в нее и одного из «вечных студентов».

— И ты идешь? — спросил я, зная, что «вечные студенты» никакого участия в «протестах» не принимают (говорить между студентами на «вы» считалось признаком «барства»).

— Ну не скудоумный ли? — воскликнул «вечный студент» вместо ответа, очевидно имея в виду нового лектора. — «Против по-зи-ти-вис-тов идет»!.. Да после этого что же у него есть святого?! Много ли вас тут, естественников-то?

— Со всех курсов понемножку. Человек 400 наберется.

— Эва! Не много ли чести для метафизика! Человек бы 50 довольно было.

— Да говорят, все филологи будут за него, — ответил я.

— О черт! Я и забыл про этих метафизических поросят...

Обширная, устроенная амфитеатром аудитория была переполнена; все волновалось и кипело. Опытный глаз тотчас заметил бы, что тут затевается что-то особенное.

Но все разом смолкло. Сотни глаз устремились на вошедшего в аудиторию и направляющегося к кафедре ее молодого человека в скромном пиджаке. Бросилось в глаза его прекрасное, одухотворенное лицо, продолговатое, бледное, с немного впавшими щеками, с небольшой раздвоенной бородой и в раме густых черных волос, падавших кольцами на воротник. Большие темно-

голубые глаза, с густыми широкими черными бровями и длинными ресницами, были как бы застланы мистическим туманом. Это был Соловьев.

Студенты имели обыкновение встречать каждого нового профессора аплодисментами, которые и на этот раз раздались было со стороны филологов, но тотчас, как в море, потонули в яростном шиканье естественников.

Соловьев, как будто ничего не замечая, обвел волнующуюся аудиторию лучистым взглядом и начал свою вступительную лекцию тихим, но твердым голосом. И чем далее, тем голос его крепчал более и более, становился звучным, вдохновенным, властным...

...В мире есть одно, для чего стоит жить и для чего надо жить. Это идея высшей правды, это таинственные, но непреодолимые порывания человеческого духа к родному ему, вечному началу... Удовлетворим же тайную жажду бессмертного духа: перед нами, как путеводный маяк, светозарная цель — обожествление человечества через приближение к Христу. И в виду этих богочеловеческих задач — что значат мутные жизненные тревоги!..

В неслыханных еще выражениях, как пламенный пророк, возвещал новый лектор христианские идеалы, непобедимость любви, покоряющей Смерть и Время, презрение к миру, лежащему во зле... Он рисовал жизнь как подвиг, цель которого — в возможной для смертного степени приблизиться к полноте совершенства, явленной Богочеловеком и обещающей обожествление человечества, царство любви и вселенского единения...

Невозможно даже приблизительно передать ту силу воодушевления, то обаяние высшего красноречия, с которым все это говорилось. Именно так и на такие темы в университете еще никто не говорил.

Вдохновенный голос умолк. Несколько мгновений тишины, и вдруг — гром рукоплесканий!.. Аплодировала вся аудитория — и естественники, и юристы, и филологи. Это были ликующие, восторженные аплодисменты. Я оглянулся, и — верить ли глазам! Столп преданий и традиций, позитивнейший «вечный студент», потрясая длинной бородой, неистово рукоплещет «метафизику»!

Соловьев поднял руку — и все утихло: очевидно, он уже овладел этой, за час перед тем бурной, аудиторией.

— Я прошу, господа, — сказал он, — чтобы на будущих моих лекциях несогласные в чем-либо со мной возражали мне...

И, провожаемый бурными рукоплесканиями, лектор удалился. Только тогда естественники, как бы опомнившись, начали

конфузливо поглядывать друг на друга, недоумевая, какими волшебными чарами они были околдованы до такой степени, что вместо хорошо подготовленной демонстрации против Соловьева ему была сделана шумная овация.

Но совершилось еще большее чудо. Успех и популярность нового лектора возрастали с каждой лекцией. Дело доходило иногда до того, что для лекции Соловьева открывали актовъй зал университета, так как самая обширная аудитория уже не могла вместить всех его слушателей.

В полной мере оценить этот успех возможно, только припомнив все, что сказано выше об идеологии и революционном настроении студенчества, о презрении к философии и метафизике и, наконец, о возникшем сначала предубеждении против самой личности Соловьева, восставшего против излюбленного большинством студентов позитивистов. К этому еще надо добавить, что Соловьев в своих лекциях не только не подделывался под господствовавшее в то время настроение, но все высказываемые им взгляды почти ни в чем не совпадали с общепринятым кодексом политических и социальных доктрин. Возьмем, например, кардинальный пункт этого кодекса. В литературе 60-х и 70-х годов было признано аксиомой, что каждая личность представляет собою в нравственном смысле только «продукт» данных социальных условий, и потому вопрос о приоритете начала личного самосовершенствования или общественно-политических форм разрешался, безусловно, в пользу последних. В полном соответствии с этим основной член студенческого символа веры гласил, что надо бороться за изменение *условий*, игнорируя внутреннюю работу над собой, которая презрительно именовалась «гнусным ковыряньем в собственной душонке». Против такого взгляда Соловьев ратовал всеми силами. Исходя из евангельского тезиса «царствие Божие внутри нас», он во главу угла полагал именно личное самосовершенствование, с энтузиазмом доказывая, что «все остальное приложится», что с усовершенствованием личности сами собой создадутся и вожделенные «условия».

Так было почти во всем — и тем не менее популярность Соловьева росла с каждым днем.

Не поучительно ли, в самом деле, это явление не только для профессоров и педагогов, но и для всех тех, кто не считает возможным идти «против течения»?

В чем же, наконец, заключалась тайна успеха Соловьева в Петербургском университете? Прежде всего, что он читал?

Сконфузившиеся на вступительной лекции естественники, оправдываясь друг перед другом, утверждали, что Соловьев про-

чел лекцию совсем не по «метафизике». Они были правы в том отношении, что как вступительная, так и все последующие лекции нового профессора действительно были очень далеки от «метафизики». Это была философия *нравственная*, в основе которой лежало учение Христа.

Многое из того, что составляло содержание лекций Соловьева, вошло впоследствии, конечно — в более обработанном и развитом виде, в изданные им книги «Оправдание добра» и «Духовные основы жизни».

Новизна тем, разумеется, могла привлечь немало слушателей, однако дело было не в этом, Неслыханным новшеством в университетской жизни явилось также предоставленное Соловьевым всем студентам право диспутировать с ним по окончании каждой лекции. Он явился новатором не только по существу читанных им лекций, но и по методу преподавания. Это нововведение заинтересовало многих: одни студенты, из непримиримых, шли на лекции Соловьева единственно с тем, чтобы, пользуясь правом диспутирования, «разбить метафизика в пух и прах» и тем спасти товарищей от его, по их мнению, вредного влияния. Другим было любопытно послушать эти небывалые диспуты между профессором и студентами. Наконец, третьи, пользуясь тем же правом, задавались целью выяснить волновавшие их религиозно-философские вопросы и более основательно уяснить себе самое содержание выслушанной лекции.

Было бы, однако, совершенно ошибочно предположить, что новый «метод преподавания» был введен Владимиром Сергеевичем как приманка для студентов. Нет, тут было совсем другое. Впоследствии из частных бесед с ним я узнал, что он был очень хорошо осведомлен об идеологии большинства студенчества и о господствовавшем в его среде настроении. Он взглянул на свои лекции как на акт миссионерства. Подобно Сократу, он верил, что «истина возникает в каждой душе», и проповедовал в поэтической форме, что

В незримой глубине сознания мирового  
Источник истины живет не заглушен<sup>8</sup>.

Для Соловьева истина была в одном: в учении Христа. Вместе с Паскалем он был убежден, что «каждая душа по природе христианка»<sup>9</sup>. Он полагал, что научить христианству — значит вызвать из дремотного состояния природные свойства «души-христианки» и, пропустив их чрез поле своего сознания, сделать достоянием практического разума. Он понес свою истину на студенческий форум. И как Сократ вел победоносную борьбу с со-

фистами путем *диалога* индуктивного характера и создал школу последователей, так и Соловьев, войдя в среду молодежи, враждебно настроенной по отношению к его мировоззрению, в форме бесед и прений со студентами применял, в сущности, тот же сократовский метод диалектики, мечтая о приобретении даровитых учеников и стойких последователей его философии.

Главнейшей притягательной силой лекций Соловьева оказалась сама его личность.

Мыслитель, вдумчивый певец,  
Благой искатель правды Божьей —

так характеризовал его А. М. Жемчужников<sup>10</sup>. Чуткая, идеалистически настроенная университетская молодежь сразу признала в нем что-то «не от мира сего».

Пусть он был не одного с нею стана, но он был так же, как и большинство студенчества, «окрылен святым восторгом» перед тем высшим миром, который своими отзвуками наполнял его душу. Студенчество пламенело жаждой подвига и «мученичества за идею»; но и Соловьев учил, говоря его же стихами, что

Жизнь только подвиг, и правда живая  
Светит бессмертьем в истлевших гробах<sup>11</sup>.

Студенчество ставило себе задачей рассеять мрак заблуждений, висевший, по его мнению, над обществом, и водворить на земле царство богатства и правды. И Соловьев патетически восклицал:

Стоит ли жить в этой тьме заблуждений,  
Стоит ли жить, если правда мертва!<sup>12</sup>

И никто вдохновеннее Соловьева не призывал людей к мировому братству и вселенскому единению.

Таким образом, созвучные струны звенели в душе нового лектора и его слушателей. Несмотря на все разногласия, невзирая на мистицизм Соловьева, студенты чувствовали в нем родную по высшим стремлениям душу; в каждом слове его чуялось то пламенное убеждение, та высшая сила, которые «не знают оков». На кафедре Соловьев не читал лекции, но властно учил, как вдохновенный пророк. И уже одно это производило огромное впечатление.

Обаятельная личность Вл. С. Соловьева наиболее ярко обрисовывалась для студентов при частных с ним сношениях. Для охарактеризования Соловьева в этом отношении мне и придется рассказать историю моего знакомства с ним как студента.

Во время пребывания в университете я чувствовал склонность к философии и почитывал кое-что в этой области, но по основам своего мировоззрения принадлежал совсем не к лагерю Соловьева и потому, пользуясь правом диспутирования, вступал с Владимиром Сергеевичем в прения едва ли не после каждой его лекции. Однажды Соловьев, выслушав меня, сказал со своей милой улыбкой:

— Я замечаю, что вы постоянный мой оппонент, и некоторые возражения ваши действительно проникают в самую суть вопроса. К сожалению, в нашем распоряжении так мало времени, что ни по одному вопросу мы не можем договориться до конца. Поэтому не пожелаете ли вы в свободное время зайти ко мне: может быть, мы с вами и столкнемся кое в чем?

Разумеется, я принял приглашение и со студенческой самоуверенностью объяснил его как предложенный мне Соловьевым диспут. Понимая дело именно так, я предварительно отправился в публичную библиотеку «подготовиться по вопросу». А вопрос был о «Вселенской Церкви». В сделанном перед аудиторией возражении я, между прочим, указал на то, что вопрос о вселенской теократии поднимался еще Чаадаевым, и выразил мысль, что как за Чаадаевым не пошла по этому пути интеллигенция 30-х и 40-х годов, так теперь и за Соловьевым не пойдет ни интеллигенция, ни студенчество, перед которыми стоят реальные общественные задачи, а не «мистические идеалы» отдаленного будущего, поэтому напрасно пытается Соловьев отвлечь студенчество от «прямого и правильно избранного им пути в туманные дебри усыпляющей мистики».

Так витийствовал я в аудитории...

О молодость, молодость! Подготавливаясь к «диспуту», я мечтал даже, что судьба возлагает на меня миссию обратить этого крайне симпатичного, но заблуждающегося философа на путь истинный. Ведь все мы верили тогда, что «идеи управляют миром» и что не только Соловьев, но и вся Россия только потому не признает наших студенческих идеалов, что не усвоила себе вот такой-то идеи и не прочла вот таких-то хороших книжек. Всецело разделяя такой взгляд, я и для Соловьева составил длинный список книг в духе господствовавшего тогда студенческого мировоззрения.

Вооруженный таким образом с головы до ног, я приблизительно через неделю позвонил в квартиру Соловьева. Жил он тогда на Каменноостровском проспекте. Дверь открыл сам хозяин квартиры. Узнав меня, он с приветливой улыбкой воскликнул:

— А, мой непримиримый студент!

Такая встреча сразу давала тон всему последующему. Я огляделся. Квартира профессора состояла из двух комнат, скромно обставленных. На столе перед диваном стоял самовар и стаканы.

— Ну что же? Чай будем пить? — спросил Владимир Сергеевич и, оглядев стол, прибавил: — Только вот сахару нет...

Услышав столь знакомую мне в студенческом быту фразу — «сахару нет», — я совершенно рефлексивно, по привычной ассоциации впечатлений, полез в карман за деньгами, но, сообразив, что передо мной не студент, а профессор, остановился. Однако Соловьев заметил мое движение и, улыбаясь, все в том же шутливом тоне пояснил:

— Сахар есть, но вопрос момента заключается в одном слове: где?

Оказалось, что служанка забыла подать сахар и сама скрылась.

И вот доктор философии и знаменитый автор «Критики отвлеченных начал» принялся за розыски сахара, а я, прибывший со столь серьезной «миссией», начал помогать ему, но, так сказать, теоретически: не под бумагами ли? не сунула ли в письменный стол? и т. п.

Наконец искомое было найдено и мы приступили к чаепитию.

Чтобы покончить с «хозяйственными» вопросами, я должен прибавить, что Владимир Сергеевич, как оказалось при последующем с ним знакомстве, во всякого рода практических делах был существом в полном смысле слова «не от мира сего» и даже на меня, в то время довольно беззаботного студента, производил впечатление человека, органически неспособного ориентироваться в каких-либо материальных соображениях. Может быть, именно поэтому он вел большею частью кочевую жизнь, останавливаясь в гостиницах или у знакомых и никогда не имея «своего угла».

За стаканом чая я, не теряя времени, приступил к выполнению своей «миссии». Сначала я сделал общий абрис исповедуемого мною «реального миропонимания» и потом предложил моему собеседнику тот список книг, о котором я говорил выше. Соловьев выслушал меня, а затем серьезно и внимательно просмотрел и самый список. Покончив со списком, он заявил мне, к величайшему моему удивлению, что все эти авторы ему известны, что сочинения их недурны, но большая их часть представляет собою или неполные, по цензурным условиям, переводы, или компиляции. Поэтому лучше всего ознакомиться с первоисточниками и подлинниками. И тут же, не отходя от стола, на

том же листе, который я ему подал, он на память написал не менее длинный список французских и немецких авторов, трактовавших о тех же вопросах, прибавив и несколько русских, на тот случай, если я плохо владею иностранными языками.

Такой неожиданный оборот дела совершенно сбил меня с толку. Не говоря уже о том, что все «мои авторы» оказались Соловьеву известными, я мог предполагать, что он, если истина на его стороне, критически рассмотрит их взгляды по существу, наконец, разобьет их «в пух и прах» — и вдруг, вместо всего этого, он еще увеличивает их список и этим дает мне, своему «неприемлемому супостату», новые, более могущественные орудия против себя самого...

В этом смысле я и высказался.

— Истина не боится света, — ответил Соловьев, — для меня так же важно познать истину, как и для вас, и все дело не во мне и не в ком-либо другом, а именно в истине. Важно только то, чтобы люди стремились к познанию истины, а пути к ней могут быть разные. Если ваша индивидуальность склоняет вас к тому направлению, которым идете вы, работайте на этом пути, и я способствую вам, как могу. — Он указал на написанный им список книг. — Затем, насколько позволяет мне судить мой личный опыт, необходимо исчерпать намеченное направление мысли по возможности до конца. То направление, которое избрали вы, я, как мне кажется, уже прошел, и когда прошел, то почувствовал, что самые существенные запросы духа остаются неудовлетворенными. Мне оставалось идти дальше. Теперь мне кажется, что туман рассеялся, передо мной просвет... Но всегда ли я останусь при этом убеждении? Почувствовав неудовлетворенность, может быть, я пойду далее... \*

---

\* Как я узнал незабвенного Владимира Сергеевича в его стихотворении, написанном гораздо позже, в 1884 году:

В тумане утреннем неверными шагами  
Я шел к таинственным и чудным берегам...

.....  
В холодный белый день дорогой одинокой,  
Как прежде, я иду в неведомой стране...

.....  
И до полуночи неробкими шагами  
Все буду я идти к желанным берегам...

Ведь это все те же мысли, которые были высказаны там, на Каменноостровском проспекте!..

Как не похож был этот ответ, полный истинно философского достоинства и в то же время нелицемерной скромности, на студенческую нетерпимость к чужим мнениям! В то время я не оценил возвышенности этого ответа и понял только то, что составленный мною для Соловьева список книг потерпел полную неудачу, почему в споре с ним приходилось рассчитывать исключительно на самого себя. И только тут, в свободном споре, я почувствовал, что мой оппонент, при всей его огромной эрудиции и необыкновенной способности к философскому анализу, наконец, при его даре слова, является каким-то Голиафом по сравнению со мной. Не то чтобы Соловьев изрекал какие-либо неслыханные истины, напротив, он говорил обо всех известных вещах, но дело в том, *как* он освещал все вопросы и *как* говорил о них. Например, вы поднимали речь об аграрном или рабочем вопросе. Соловьев признавал законность всех этих вопросов, но когда он начинал говорить о них, то казалось, что он усаживает вас в аэростат и поднимает высоко над землей и с этой, еще неизвестной вам высоты все злободневные вопросы неожиданно бледнеют перед чем-то высшим, лучезарным и великим. Земля с ее тревоблениями постепенно скрывалась из вида, и вы чувствовали близость необъятного и величественного неба. Не правда земли, а правда Божья увлекала его, и он обладал поразительным даром поднимать человека над землей и сообщать ему высшие порывы духа. Прекрасно сказал о нем А. М. Жемчужников:

Тот высший мир манил его,  
Где вечность заслонила время...<sup>13</sup>

Беседа наша с Владимиром Сергеевичем затянулась до поздней ночи.

Я вышел от него глубоко взволнованным, в каком-то тумане, и целый хаос самых противоречивых мыслей вихрем пронесся предо мной. Не то чтобы Соловьев заставил меня отречься от моего мировоззрения, — он, по-видимому, и не старался об этом: он просто раскрывал передо мною новый мир идей и стремлений, *свой* мир... И уже гораздо позже я понял, что во мне началась борьба двух противоположных начал. Однако и в то время я не мог не сознавать, что все те вопросы, которые в моих глазах и в глазах моих товарищей казались разрешенными чуть ли не с математической точностью, на самом деле сохраняют прежнюю остроту мучительных загадок.

Была ночь, сияла луна. Длинный шпиг Петропавловской крепости высился вдали, как гигантский грозный палец: quos

ego!..<sup>14</sup> А далее, по мере того как я в волнении шел сам не зная куда, и эта громада являлась мне в ином свете. Все заволочлось туманом, и сквозь его гущу начал вырисовываться бледными, неясными очертаниями и образ смиренного Галилеянина...

Наступила следующая лекция Соловьева, после которой ему, по обыкновению, «возражали». Один студент, волнуясь, между прочим, сказал:

— Никто не знает истины. В чем она? Идите к Менделееву или Сеченову, и они ответят: вот в чем. Разверните Конта или Канта — и там прочтете другое. Сам Христос на вопрос Пилата: «Что есть истина?» — ответил молчанием.

Владимир Сергеевич возразил:

— Христос действительно не ответил на вопрос об истине, но не ответил Пилату. Ученикам же своим Он сказал: Я есмь путь и истина и жизнь. Указав, что истина в Нем, Он также сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными.

Некоторые студенты в своих возражениях оказывались несдержанными и позволяли себе колкости. Таких, впрочем, сейчас же останавливали другие криками «Довольно!»

После лекции, когда Соловьев уже выходил из университета, я спросил его: как он относится к несдержанным студентам? Владимир Сергеевич с видом глубокого убеждения ответил:

— Это будут если не лучшие мои ученики, то, во всяком случае, прекрасные общественные деятели.

Я попросил объяснения.

— Усвоению каждой истины, — продолжал профессор, — предшествует период более или менее страстного отрицания ее. И чем упорнее отрицание, тем пламеннее вера. Для того чтобы быть апостолом Павлом, нужно пройти через «дышавшего угрозами и убийством» Савла<sup>15</sup>. Дело не в том, что они говорят колкости и волнуются, а в том, что они не остаются равнодушными к исканию истины. Горе не тому, кто «горяч», а тому, кто «не горяч»; про таких сказано: «Извергну тебя из уст Моих».

Так везде и во всем для Владимира Сергеевича стояла на первом плане не личность, а истина и ищущие ее.

Время шло, а мой душевный кризис, вызванный проповедями Соловьева, становился все мучительнее. Сидя в его квартире и слушая его вдохновенные речи, я временами готов был воскликнуть: да, учитель, ты прав! Но мрачная действительность того времени совсем не располагала к пути «самосовершенствования» и «вселенской любви», на которые звал своих слушателей Соловьев. Возмутительные факты грубого административного произвола и насилия способны были озлобить даже самых сми-

ренных. В самом университете беспрестанно повторялись аресты и потом высылки совершенно не повинных ни в какой политической агитации студентов. Казалось, сама администрация делала все от нее зависящее, чтобы ненависть к существовавшему режиму разрасталась и вширь и вглубь. И недаром революционеры говорили тогда, что наилучшим их союзником в пропаганде является правительство. И вот после одного из «актов» администрации, особенно возмутившего всех, мне показалось, что переживаемым мною мучительным колебаниям наступил конец. Я явился к Соловьеву и рассказал ему так сильно взволновавшие меня события последних дней.

— Да, тяжелые факты, ужасные факты! — печально произнес Владимир Сергеевич.

— Вы видите, — взволнованно продолжал я, — разве возможно в такие времена эгоистическое «самосовершенствование»? Нет, остается одно: на насилие отвечать насилием, применять не закон Христа, а закон Моисея: око за око, зуб за зуб... Война так война, и надо идти в бой, а не услаждаться проповедью «любви»...

И чтобы показать «учителю», что я отрекаюсь от всей его философии, я вынул из кармана книжку, в которую вписывал свои стихи, и прочел стихотворение, написанное накануне.

Оно заканчивалось словами:

...Боец ли, нет ли, но с бойцами  
Одной душой я жить клянусь,  
И перед вашими богами  
Я никогда не преклонюсь!..

В волнении я бросил свою тетрадку на стол и, отойдя к столу, начал смотреть на улицу.

Наступило молчание.

Владимир Сергеевич сидел в своей обычной позе, охватив руками приподнятое колено и со склоненной головой. Спустя некоторое время он тихо, как бы раздумчиво заговорил:

— Во всех случаях жизни, а тем более в важнейших из них, необходимо проверять свое решение, свою совесть образом Христа. Надо спросить себя: одобрил ли бы Он предполагаемый поступок? В данном случае, когда идет речь о насилии, мы имеем Его прямое указание: взявший меч мечом погибнет... Однако идем далее. Положим, вы готовы погибнуть во имя того, что для вас представляется общественным благом. Следовательно, вы верите, что это есть действительно благо, добро... Но применение насилия для целей добра было бы признанием, что само по себе добро не имеет силы. Однако так ли это? Если мы обратимся к

историческим фактам, то общеизвестен гигантский, длившийся века поединок между Добром и Злом, между любовью и насилием. Представителями добра и любви явились христиане первых веков, а воплощением насилия, направленного против христиан, выступил грозный, несокрушимый Рим. Кто же победил? На каждой церкви вы увидите крест, символ любви и победы над насилием; но где железный Рим времен Нерона? Вы хотите действовать во имя добра, следовательно, намерены создавать, а не разрушать. Но творческой силой является только любовь; насилие может только разрушать. И посмотрите, как созидал Христос. Он принял образ самого смиренного из людей — сына беднейшего плотника, и притом из Назарета, т. е. из деревушки, которая была в презрении даже у современных Христу иудеев. К этому смирению он присоединил «превосходящую всякое разумение» любовь к людям и создал Свою Церковь не насилием, не мечом, не противлением кесарю, но только любовью.

— Пускай все это так, — сказал я, — но, по-моему, не препятствовать тому, что совершается, значит не иметь в груди сердца.

— Совершается вокруг зло и насилие, но, возмущаясь насилием, вы хотите прибавить насилие и от себя? Вы стремитесь, может быть, к подвигу; но при данных условиях подвиг в том и заключается, чтобы, видя вокруг ликование зла и насилия, могучим внутренним движением побороть в самом себе соблазн к нисилию и верить единственно в могущество Добра самого по себе... Вы страдаете, но Христос предвидел, что алчущие и жаждающие правды в том мире, который «во зле лежит», будут страдать, и потому сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

Вечер кончился тихой и сердечной беседой. В конце ее Соловьев взял в руки брошенную мною на стол тетрадку со стихами и сказал:

— Я напишу вам на память стихотворение.

Эта тетрадка, в которую тридцать лет назад Владимир Сергеевич вписал свое стихотворение, лежит сейчас передо мною. Стихотворение же это следующее:

О, как в тебе лазури чистой много  
И черных, черных туч!  
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,  
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.

И как в твоей душе с невидимой враждою  
Две силы вечные таинственно сошлись,  
И тени двух миров, нестройною толпою  
Теснясь к тебе, кругом переплелись,

В неведомой чреде друг другу уступая  
Иль споря меж собой без мысли и следа,  
И вся твоя душа — их двойственность слепая,  
Немой бесплодный мир, ненужная вражда...

Но верится: пройдет сверкающий громами  
Средь этой мглы божественный глагол,  
И туча черная могучими струями  
Прольется вся в опустошенный дол.

И светлую росой она его омоет,  
И утаится пыл враждебного огня,  
И весь свой блеск небесный свод откроет,  
И ярко расцветет веселая земля\*.

Уходя в этот вечер от Владимира Сергеевича и уже надевая пальто, я сказал:

— А все-таки она вертится...

Соловьев понял ход моих мыслей, задумчиво посмотрел на меня и в тон мне ответил:

— А может быть, вам и придется пройти через Савла...

На прощанье мы в первый раз облобызались.

Владимир Сергеевич охотно знакомился со студентами и как будто даже искал сближения с ними вне стен университета. Кроме меня, он бывал еще у нескольких студентов, причем совершенно не стеснялся той обстановкой, в которой они жили. Например, после роскошной квартиры князя Э. Э. Ухтомского, бывшего в то время студентом Петербургского университета, я застал его в жалкой конурке беднейшего из студентов Бояринова, обитавшего в одной из глухих улиц Петербургской стороны. Студентов такого типа, как Бояринов (жив ли он и где он теперь, мой милый товарищ?), в наше время не встречается, и потому, воскрешая тени минувшего, надо сказать о нем несколько слов.

---

\* В печати (сличаю по 3-му изданию стихотворений Влад. Соловьева. СПб., 1900) это стихотворение появилось в несколько ином виде: вместо «кругом переплелись» поставлено — «причудливо сплелись». Следующее за этими словами подчеркнутое мною четверостишие совсем выпущено. Наконец, последнее четверостишие переделано следующим образом:

...И светлую росой она его омоет,  
Огонь стихий враждебный утолит,  
И весь свой блеск небесный свод откроет  
И всю красу земли недвижно озарит.

Бояринов был юристом, жил на 15 рублей в месяц, получаемых с урока, а в действительности на еще меньшую сумму, так как, получив деньги за урок, иной раз давал встретившемуся нищему полтинник. Комнатка его была пространством в 15 квадратных аршин; в ней находились кровать, небольшой некрашенный стол и два стула. Питался он хлебом и овощами, иногда, как роскошь, позволял себе пообедать в кухмистерской.

Главное, что составляло его оригинальность, заключалось в том, что жил он таким образом по принципу. На это у него была своя теория, которую он при случае излагал товарищам так:

— Все вы стремитесь к свободе и независимости, но вы рабы и готовите себя в рабы, хотя проповедуете свободу. Действительная независимость приобретается только способностью питаться хлебом с водою и находить высшее наслаждение в мышлении и в спокойствии духа. Заботиться о хлебе насущном постыдно. Если я достиг этого, то я вполне независим и смело могу говорить кому угодно то, что думаю. Чем могут испугать меня? Куда бы меня ни заточили, куда бы ни сослали, — хлеб с водою и комната в 15 кв. аршин везде у меня будет, а наслаждения мыслить у меня никто не может отнять. Я верю в бессмертие души и потому даже на смерть смотрю как любознательный путник, засидевшийся на одном месте и жаждущий повидать новые земли...

Однако относительно веры в бессмертие он, по-видимому, был не особенно тверд и постоянно обсуждал этот вопрос. Он производил по этому поводу своего рода анкету, опрашивая по вопросу о бессмертии всех студентов, с которыми вновь знакомился, чем, между прочим, и приобрел прозвище «чужак».

В тот день, когда я застал у него Соловьева, он как раз свел новое знакомство со студентом-естественником, затащил его к себе и, по обыкновению, допросил по вопросу о бессмертии.

Естественник не задумался ни на минуту и, увидев на столе бумагу, тотчас сел и написал:

Друзья! Материя ведь вечна,  
А мы — материя, конечно...  
Итак, в амины и амиды,  
В сульфокислоты, альдегиды  
И в множество соединений,  
По точной схеме разложений,  
Мой труп бессмертный превратится  
И в газах, в почве растворится...  
И вспыхну я в огне заката,  
Польюсь волною аромата

И лягу розой полевой  
На грудь красотки молодой... \*

Бояринов, прочтя этот «символ веры», возмутился и воскликнул:

— Ты все о плоти, о материи! А душа?

— Душа?! Ну, о таком элементе химической науке ничего не известно.

Соловьев, которому Бояринов прочел стихотворение естественника, много смеялся тем особым смехом, которым смеялся только он. Вл. Серг. сам любил шутку и по поводу «стишины» естественника рассказал такой анекдот: одного ученого-математика, смотревшего на весь мир сквозь призму математических доказательств, упростили послушать музыканта. Математик, внимательно прослушав сонату, дивно исполненную вдохновенным артистом, в недоумении спросил окружающих:

— Что же он этим хотел доказать?

Когда шутки кончились, Владимир Сергеевич задушевым тоном начал развивать столь желанную для Бояринова тему о бессмертии:

— Желание бессмертия, — говорил он, — и вера в него — это то единственное, что поднимает человека над всею остальной природою. Если не верить в бессмертие, то не стоит и жить. И вот почему «мир во зле лежит». Это зло повсюду: зло и обман в том, что, всемерно стремясь к жизни, мы в то же время знаем, что смерть — удел всего существующего, и сами кончаем смертью. Зло и в том, что бытие вселенной наполнено беспощадною борьбою за существование, братоубийственной борьбой... Злоба и вражда наполняют нашу жизнь, а любовь к ней призрачна. Такая жизнь, насыщенная злобой и враждою, стремлением каждой особи противопоставить себя всему остальному и отстоять свое «я» за счет страданий или гибели других и кончающаяся все же собственной гибелью, — бессмыслица и нравственное преступление. Примириться с такою бессмысленною и нравственно преступною жизнью — значит примириться с царством смерти и сознательно участвовать в мировом зле и обмане. Следовательно, жизнь только в таком случае приобретает смысл и нравст-

---

\* Это стихотворение впоследствии было мне прислано Бояриновым при таком письме: «Храни сию стишину одного из твоих единомышленников до того дня, когда от вашего паскудного механического миропонимания не останется в науке и праха. В тот скорый и радостный день разверни сию стишину и возпроси себя: безумец, кто из нас был прав?»

венное достоинство, когда она является непрерывным стремлением к нравственному совершенству, стремлением к победе духа над материальной природой, влекущей человека ко злу и гибели. Жизнь должна быть подвигом, т. е. сознательным и постепенным претворением плотской жизни в жизнь духовную, одухотворением материи, созиданием богочеловеческого тела. И венцом такого подвига является, как показал Христос, полная и совершенная победа духа над материей, жизни над смертью, воскресение из мертвых или истинное бессмертие.

Бояринов слушал Владимира Сергеевича с упоением. Он готов был броситься ему на шею и с этого дня прекратил допросы товарищей о бессмертии. Он был удовлетворен в своем искании.

Популярность Соловьева среди студентов быстро возрастала. Он приобретал уже тот авторитет, без которого немислимо учительство и сколько-нибудь серьезное влияние на слушателей. И не подлежит сомнению, что если бы Соловьев удержался в университете достаточно продолжительное время, то в значительной степени видоизменил бы идеологию большинства студенчества. Но все это оборвалось разом и совершенно неожиданно. Такого рода неожиданностями вообще было богато описываемое время.

Вот как произошло то печальное событие, которое лишило С.-Петербургский университет такого выдающегося доктора, как Вл. С. Соловьев.

Спустя несколько времени после царевубийства 1 марта 1881 г., когда суд над участниками этого преступления еще не состоялся, Владимир Сергеевич решил прочесть публичную лекцию. Эта лекция произвела в то время огромную сенсацию и разошлась в массе гектографированных, но нередко искаженных списков по всей России.

За два дня до этой лекции я зашел к Соловьеву. Между прочим он спросил меня, собираются ли студенты на его лекцию. Я ответил, что многие желали бы быть на лекции, но не всем по карману входная плата.

Владимир Сергеевич тотчас же вынул из письменного стола большую пачку билетов для входа на лекцию и просил меня раздать их в университете бесплатно.

Настал день этой знаменитой лекции. Я не помню, где именно она была прочитана, но помню, что зал был переполнен<sup>16</sup>. Когда Соловьев появился на эстраде, студенты встретили его рукоплесканиями. Начало лекции было совершенно в мистическом духе, но видно было, что лектор к чему-то подходит, что-то заранее стремится обосновать. Но что именно? Самый проница-

тельный слушатель не мог бы предугадать конечного вывода. Чтобы понять то потрясающее впечатление, которое произвел на публику конец лекции, необходимо припомнить, какие дни переживал тогда Петербург. Как сказано, это было вскоре после ужасного события 1 марта. Это были дни страха и ужаса, когда «хватали правого и виноватого», когда все места заключения были переполнены и о царубийцах робкие люди даже дома говорили шепотом, боясь, что «стены услышат»...

И вот в такие-то дни, среди многолюдного собрания Владимир Сергеевич не только заговорил о царубийцах, но сказал о них то, что не решился бы сказать публично ни один лектор во всей России.

Это было бесстрашное, полное великого мужества исповедание веры. В те минуты казалось, что действительно воскрес один из громоносных ветхозаветных пророков и огненным словом бестрепетно указал толпе, плясавшей вокруг Ваала, на забытого Бога.

Разумеется, я даже приблизительно не в состоянии передать пламенное красноречие конца лекции, так потрясшего всю публику. Я могу передать только мысль.

Владимир Сергеевич подошел к вопросу о сущности государства. В нескольких замечательно сильных выражениях он охарактеризовал существующие государства вообще и русское в частности как совершенно нехристианские, как чуждые основных начал истинного христианства.

— Христианское государство, — возглашал вдохновенный лектор, — должно иметь цель не в себе самом; оно должно находить свой смысл единственно в приближении к царству Божию, к осуществлению в государственном союзе воли Отца Небесного, одинаковой как на земле, так и на небесах. Вне служения этой цели каждое государство теряет право на название христианского и становится, подобно языческому, бесцельным и бессмысленным. «Я есмь путь и истина и жизнь». Государственная организация имеет ценность постольку, поскольку она является путем к возвещенной Богочеловеком истине, приводящей к жизни вечной. Поэтому закон в государстве не может служить признанием случайно образовавшегося «соотношения реальных сил»: он должен обновляться в духе истины и исправляться по идеям правды Божией. И каждый нарушитель закона, каждый преступник должен рассматриваться как один из тех, которые «куплены дорогою ценою». С христианской точки зрения это — несчастный, уклонившийся от пути правды Божией; но в нем еще жива душа, способная к возрождению... Приблизить эту заблуд-

шую душу ко Христу может только носительница его заветов — Церковь, а не полицейские чиновники. Верховная власть в христианском государстве не должна являть собою воплощение произвола; она должна понимать свое назначение как преимущество перед всеми служение заветам Христа. В особенности следует это сказать о русском государстве. Если наш царь именуется помазанником Божиим, то такое священное звание обязывает его с наивысшей ревностью относиться к воле Бога, к делу Божию на земле. Он должен всенародно явить доказательство своего звания как истинного «помазанника Божия».

— В настоящее время совершилось цареубийство, — продолжал Соловьев.

И вдруг наступила жуткая, страшная тишина. Казалось, зал окаменел... Все затаили дыхание, все сердца усиленно бились: неужели он решится?.. И среди этой подлинно гробовой тишины гремел вдохновенный голос «пророка»:

— Свершилось злое, бессмысленное, ужасное дело: убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и по существующему закону их ожидает смерть — как возмездие, как исполнение языческого веления: око за око, смерть за смерть. Но как должен бы поступить истинный «помазанник Божий», высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению ко впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. «Помазанник Божий», не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и передав их в ведение Церкви, единственно способной нравственно исцелить их...

Соловьев кончил. Но еще с минуту стояла все та же леденящая душу тишина. И вдруг словно дикий, неистовый ураган ворвался в зал. Раздались не крики, а прямо вопли остервенения, безумной ярости: «Изменник! Негодяй! Террорист! Вон его! Растерзать его!»

Публика первых рядов бросилась к эстраде, размахивая руками, стуча стульями и неистово крича вслед уходящему лектору. Как сейчас вижу одного генерала, бросившегося за Соловьевым и бешено потрясавшего багровым кулаком.

В то же время раздавались неистовые аплодисменты и крики «браво» среди студентов.

Вдруг сотенная толпа их колыхнулась...

— Они убьют его. Выручать!..

И студенческая масса, точно вырвавшийся на волю поток, ринулась к Соловьеву.

Публика мигом была оттеснена; ворвались в ту, соседнюю с залом комнату, где стоял профессор. Но он сделал движение рукою и снова появился на эстраде.

При его появлении снова все смолкли, ожидая, что он скажет.

— Я вижу, — расстроено начал Владимир Сергеевич, — меня совершенно не поняли: я не оправдывал цареубийства...

Но снова бешеные крики с одной стороны и тотчас следовавшие за ними бурные аплодисменты с другой прервали его. Одни стремились к Соловьеву, что-то крича и размахивая руками, другие пытались удержать их; готова была начаться свалка...

— Не выдавать! — раздалось опять среди студентов. — Цепь, цепь кругом! на руках нести!..

Одни студенты мигом схватились за руки и образовали кругом Соловьва живую цепь; другие подхватили его на руки и все вместе, с криками: «Ура! Да здравствует Соловьев!» — торжественно понесли его к выходу среди беснующейся вокруг публики. Пронесли с триумфом через весь зал, спустились по лестнице и опустили на ноги только у вешалки с платьем. Нашли и подали ему шинель, потом наняли карету, усадили и проводили криками «ура».

А по Петербургу уже полетело сенсационнейшее для тех дней известие, что проф. Соловьев в публичной лекции, при огромном стечении публики, доказывал будто бы необходимость полного «помилования» цареубийц...

На другой же день, часов в 12, я был у Соловьева. При взгляде на него я невольно отшатнулся — до такой степени было страдальческое выражение его лица. Особенно поразила меня небольшая прядка седых волос спереди. Она явилась в одну ночь.

Убитый вид Соловьева и грустный тон последующих речей его составляли резкий контраст с целой грудой прелестных букетов из живых благоухающих цветов, которыми был завален один из столов. Как оказалось, все эти букеты были поднесены Владимиру Сергеевичу сегодня же утром неизвестными слушателями и слушательницами вчерашней лекции.

Только один и, кажется, самый роскошный букет был доставлен не анонимно: его вручили «высокоуважаемому профессору» депутатки Бестужевских курсов.

Когда я вошел, Владимир Сергеевич стоял посреди комнаты с пером в руке и грустно смотрел на эти чудные цветы.

Соловьев встретил меня так, будто мы не расставались: вместо обычного приветствия он схватился за голову и мученическим голосом воскликнул:

— Они не поняли меня, совершенно не поняли!..

Очевидно, под «они» подразумевалась публика вчерашней лекции. Как ни был я далек от его настроения, но живо почувствовал глубокую трагичность этого восклицания. Человек вложил всю душу в свою лекцию, может быть, не без мучительных колебаний решил высказать в такие ужасные дни одно из своих священнейших верований, и... оно было истолковано в совершенно обратном смысле!

— Меня вызывают в Третье отделение, — возбужденно продолжал Вл. Серг., — это пусть, но я только хочу, чтобы меня поняли. С этой целью я пишу письмо Государю<sup>17</sup>.

При этих словах Вл. Серг. указал на пачку исписанных по-французски листов, лежавших на столе.

— Я излагаю в этом письме все существенные места моей лекции и почти целиком все то, что я сказал о цареубийцах. Я уверен, государь поймет, что с христианской точки зрения я прав. Во всяком случае, я не раскаиваюсь в том, что говорил, и отказаться от сказанного мною я не в состоянии, что бы со мной ни сделали. Если же и после этого письма мне придется пострадать, то для меня будет большим утешением сознание, что я пострадал не по недоразумению, а именно за то, что я сказал...

Я пострался как мог рассеять мрачные мысли Владимира Сергеевича и, не желая мешать ему оканчивать письмо государю, удалился, сказав, что забегу завтра утром.

Мог ли я ожидать, что это мое свидание с Соловьевым было в Петербурге последним!

Случилось так, что я мог пойти к Соловьеву только через несколько дней. Квартиру его я нашел запертой. На мой звонок в противоположную дверь вышла какая-то женщина и на вопрос о Соловьеве замахала руками и, поспешно проговорив: «Выехал, выехал...» — захлопнула дверь.

Я направился к дворнику.

В то время петербургские дворники по отношению к студентам были могущественными особами, так как являлись, в сущности, агентами все того же грозного Третьего отделения и участь не одной сотни студентов была решена тем или иным отзывом домового дворника.

Господин старший дворник, к которому я теперь шел, стоял у дворницкой.

— Могу я узнать, куда выехал Владимир Сергеевич Соловьев?

Дворник вместо ответа строго посмотрел на мой студенческий плед, потом медленно приподнял фартук, расправил его угол на растопыренных пальцах и так же неторопливо, по гоголевскому

выражению, «обошелся с носом». Засим он тем же фартуком старательно вытер усы и бороду и, когда вся эта операция была закончена, снова взглянул на мой злосчастный плед и удостоил такого ответа:

— А вот что я вам скажу: идите-ка отсюда подобру-поздорову, да поскорее, по-настоящему-то вас как приятеля Соловьева надо бы в участок предоставить...

С этими словами он не торопясь вошел в свою дворницкую и хлопнул дверью.

Комментариев для студента того времени не требовалось: Соловьева в Петербурге уже не было. Для университета погасла одна из самых ярких его звезд, и многие студенты почувствовали себя осиротевшими.

Заканчивая свои воспоминания об одном из замечательнейших научно-литературных деятелей XIX века, я могу прибавить только несколько слов.

По моему глубокому убеждению, описанный период жизни не мог остаться без сильного влияния на образ мыслей Вл. С. Соловьева.

Размышление над причинами собственной житейской катастрофы должно было внести некоторые поправки в его взгляды на условия общественного прогресса. Эволюция в этом направлении, конечно, могла продолжаться под воздействием всей совокупности обстоятельств его времени, но первый толчок в эту сторону едва ли не был дан впечатлениями описанного момента.

В моей памяти самым драгоценным и обаятельным является воспоминание о Вл. С. Соловьеве.

